

Виталий Бианки



РАССКАЗЫ

Виталий Бианки

РАССКАЗЫ



АЛТАЙСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО · 1976

Р2
Б59

Бианки В. В.
Б59 Рассказы. Переиздание. Барнаул, Алт. кн. изд., 1976.
44 с.

Б 70803—007 60—76
М138(03)—76

Р2

© Алтайское книжное издательство, 1976
Иллюстрации.



ПОСЛЕДНИЙ ВЫСТРЕЛ

В котелке поспела сухарница¹, и охотники только было собрались ужинать.

Выстрел раздался неожиданно, как гром из чистого неба.

¹ Сухарница — скороспелое блюдо таяжных охотников — размешанные в кипятке сухари с маслом и солью.

Пробитый пулей котелок выпал у Мартемьяна из рук и кувыркнулся в костер. Остроухая Белка с лаем ринулась в темноту.

— Сюды! — крикнул Маркелл.

Он был ближе к большому кедру, под которым охотники расположились на ночлег, и первым успел прыгнуть за его широкий ствол.

Мартемьян, подхватив с земли винтовку, в два скачка очутился рядом с братом.

И как раз вовремя: вторая пуля щелкнула по стволу и с визгом умчалась в темноту.

— Огонь... подь он к чомору! — выругался Маркелл, трудно переводя дыхание.

Костер, залитый было выплеснувшейся из котелка сухарницей, вспыхнул с новой силой. Огонь добрался до сухих сучьев и охватил их высоким бездымным пламенем.

Положение было отчаянное. Яркий свет слепил охотникам глаза. Они не видели ничего за тесным кругом деревьев, обступивших елань¹. Защищаться, отстреливаясь, не могли.

А оттуда, из черного брюха ночи, освещенная елань была как на ладони, и чьи-то глаза следили за каждым их движением.

Но Мартемьян сказал совсем спокойно:

— Однако ништо. Белка скажет, откуда он заходить станет. Вокруг лесины отуряться² — не достанет.

В этих немногих словах было все: и признание опасности и точное указание, как ее избегнуть.

— Цел? — спросил Маркелл.

— В казанок³ угодила, — просто ответил Мартемьян.

Больше они не сказали друг другу ни слова. Неподвижно стояли, вплотную прижавшись к жесткой коре дерева, и вслушивались в удаляющийся лай собаки.

Эти два человека и сроду не были болтливы, — они стыдились лишних слов. В тайге они родились, в тайге прожили вдвоем всю свою долгую жизнь. Старшему шел уже седьмой десяток, младшему — шестой. Кто бы сказал это, глядя на их прямые плечи, крепкие спины? Громадные,

¹ Е л а н ь — поляна.

² О т у р я т ь с я — поворачиваться вокруг оси.

³ К а з а н о к — котелок.

с волосатыми лицами, они стояли у темного кедра, как два поднявшихся на дыбы зверя.

Нападение не требовало объяснения: в руках у братьев было сокровище.

На плече у Мартемьяна висел кожаный мешок. Мешок был из толстой, грубой кожи, заскорузлый и грязный. Но лежало в нем то, что считалось дороже золота: тщательно снятые, высушенные и вывернутые блестящей шерсткой внутри шкурки застреленных ими соболей.

Слишком трудно дается осторожный зверек добытчику, слишком часто в тайге лихие люди пытались отнять у промышленника его драгоценную добычу. Братья носили мешок на себе поочередно, ни на минуту с ним не расставаясь.

Враг умудрился застать их врасплох. Оставалось только прятаться от его невидимой руки, пока сам собой не потухнет костер.

И оба молчали, потому что знали, каждый думает так же.

Лай Белки подвигался вправо; они, хоронясь за стволом, переступали влево.

Слышно было, как собака настигла скрытого тьмой человека, кинулась на него.

«Дура... застрелит!» — подумал Мартемьян. И от этой мысли у него сразу похолодели ноги.

Внезапно лай оборвался придушенным хрипом. В разом наступившей тишине раздался глухой шум падения тела и сейчас же — шуршанье судорожно скребущих землю лап.

— Шайтан... Белку! — вскрикнул Мартемьян и уже на бегу крикнул брату. — Стой!

Маркелл во всем привык слушаться старшего брата. Так повелось с детских лет, так осталось и до старости.

Он с тревогой следил, как брат перебегает предательски освещенную елань.

Когда Мартемьян был уже у самой стены деревьев, за ней вспыхнул огонек и громыхнул выстрел.

Мартемьян выронил винтовку, споткнулся и упал.

— Бежи! — крикнул он брату. — Белку!..

Маркелл понял с полуслова: брат хотел сказать, что стрелявший пришел не за кожаным мешком, а за собакой, и что собаку надо отбить во что бы то ни стало. Маркелл выскочил из-за прикрытия и широкими прыжками кинулся через елань.

Выстрелов больше не было, но, когда Маркелл добежал до деревьев, он услышал впереди треск сучьев: кто-то тяжело убегал по тайге.

Скоро чаща преградила охотнику путь. Острый сучок полоснул его по щеке, чуть не задев глаза.

Маркелл остановился. В черном мраке впереди не видать было даже стволов деревьев, и шаги бегущего смолкли.

Маркелл сунул винтовку в чащу и, не целясь, выпалил прямо перед собой — в темноту.

Прислушался. Сзади спокойно потрескивал костер.

Маркелл вернулся к брату.

Пуля пробила Мартемьяну правую руку и чиркнула по ребрам. Рана не опасная, но крови шло много.

Согнув больную руку в локте, Маркелл туго прикрутил ее к груди брата. Кровь удалось остановить.

Братья потушили костер, улеглись на земле и молча, не смыкая глаз, стали дожидаться рассвета.

Думали о своей Белке и как ее отбить. Дороже самой драгоценной добычи охотнику его верный друг — собака.

Лучше б им лишиться кожаного мешка, чем Белки: была б собака, настреляли бы еще соболей. Теперь братья были не только ограблены, — разорены.

Такой собаки, как их Белка, больше не достанешь. Молодая — ей не было еще и четырех лет, — она уже славила на всю округу как лучшая промысловая лайка. Щенки ее отличались редким чутьем. За каждого давали пятнадцать — двадцать рублей. За мать не раз предлагали все двести. Но братья не польстились даже на такие неслыханные деньги.

Кто мог украсть ее?

Такая белоснежная лайка была одна в округе, ее все знали. Слухи о ней живо дошли бы до хозяев.

Украсть мог только тот, кто не боялся, что законные хозяева судом или силой заставят его вернуть им собаку.

Такой человек был один в округе: исправник¹.

Он не раз уже предлагал братьям продать ему Белку и всячески притеснял их за отказ. Не было сомнения, что это он подослал к ним своего человека украсть собаку.

¹ И с п р а в н и к — полицейский чин в царские времена. В Сибири исправники пользовались очень большой властью.

Не было сомнения, что никто из деревенских не пойдет в свидетели против него.

Братья сознавали свое полное бессилие перед полицейским там, в деревне, и в городе. Лежа рядом, они думали об одном: как поймать вора, пока он не ушел из тайги. И мысль их работала одинаково, точно на двоих была у них одна голова.

В тайгу был единственный путь — по реке. По ней заходили охотники на промысел, по ней и назад возвращались, в деревни. Нет другого пути и вору. Его лодка припрятана, верно, где-нибудь поблизости.

Братья оставили свою лодку выше по реке. Добираться до нее — уйдет целый день.

Река близко. Если бы не тайга, не чаща, добежать до реки — полчаса. Тогда можно будет...

Было у братьев еще сокровище, отнять его у них можно было только вместе с жизнью, — верный глаз.

Только б увидеть вора, а уж пуля, направленная уверенной рукой, не даст ему ускользнуть. И тайга скоронит концы.

Едва в посеревшей темноте обозначились ближние деревья, братья поднялись с земли.

Мартемьян только поглядел на брата да передал ему кожаный мешок, и оба шагнули в одном направлении.

Им ли не знать тайги! Ощупью, в темноте, они отыскали незаметный звериный лаз и вышли по нему на тропу.

Скользя в пробитые оленьими копытами колдобины, спотыкаясь о корни, они бежали и бежали по узкой тропе, пока не послышался впереди мерный грохот реки.

Тогда они пошли шагом, перевели дыхание, чтобы не изменил глаз, не дрогнула бы рука, если сейчас понадобится стрелять.

Ободняло.¹

Они раздвинули ветви и выглянули на реку так осторожно, точно выслеживали чуткого марала.²

Река вздулась от обильных осенних дождей. Навстречу братьям, гремя на перекате, неся широкий бурливый поток. Он был виден далеко вперед.

Лодки на нем не было.

¹ Ободняло — совсем рассвело.

² Марал — сибирский вид благородного оленя.

Братья поглядели назад. Сейчас же за ними река, обогнув мыс, круто сворачивала. Высокий лес на мысу заслонял реку за поворотом.

Если вор проскользнул уже здесь, больше они никогда его не увидят.

Один и тот же невысказанный вопрос мучил обоих: да или нет?

И глаза их шарили по волнам, точно искали на них невидимые следы проскользнувшего по ним беглеца.

Так стояли они долго. Уже солнце поднималось над тайгой, играя искрами в зыби потока.

Братья устали от бессонной ночи; от быстрого бега по тропе у них зудели ноги. Но им и в голову не приходило сесть, точно сидя они могли пропустить плывущую мимо них лодку.

Ночное нападение лишило их ужина; утром у них не было времени поесть. Но они не догадывались вытащить из-за пазухи хлеб и пожевать его.

Вдруг Маркелл — глаза его видели дальше — вскрикнул:

— Плывет!

Это было первое слово после шести часов молчания.

Дальше все произошло быстро, очень быстро, гораздо быстрее, чем можно это рассказать.

На них стремительно неслась лодка.

Маркелл первый разглядел на ее носу собаку и крикнул:

— Белка, сюды!

Видно было: собака рванулась, но ремень, завязанный у нее на шее, сбросил ее назад в лодку. Слышен был хриплый, негодующий лай, заглушенный шумом реки.

Тогда Мартемьян выдернул из повязки больную руку, левой приладил винтовку на сук, правой потянул за спуск — щелкнул выстрел.

Маркелл торопливо сказал:

— Не проймешь... брось: мешки.

Вдоль борта лодки стояли набитые землей мешки. За кормой торчало рулевое весло, но человек, управлявший им, виден не был. Пули не могли ему причинить вреда.

На мгновение братья растерялись. Их последняя надежда рушилась.

Лодка быстро подходила. Что-то надо было предпринять сейчас, немедленно, не теряя ни минуты.

И вот, в первый раз за десять лет, мысли братьев по-скакали в разные стороны.

Старший торопливо стал перезаряжать винтовку.

Младший сорвал с себя кожаный мешок, поднял его высоко над головой, закричал, заглушая грохот потока:

— Бери соболей, отдай собаку!

В ответ ему с лодки стукнул выстрел, пуля пропела в воздухе. Лодка, держась того берега, неслась уже мимо них.

Мартемьян опустил винтовку на сук. Лицо его было страшно. Он бормотал:

— Щенят вору плодить!.. Врешь, никому не достанешься.

Больная рука плохо слушалась его, мешала быстро управиться с ружьем.

Одним прыжком Маркелл подскочил к брату. Скинул его винтовку с сука. На тот же сук опуская свою винтовку, жестко сказал:

— Молчи! Я сделаю.

И тщательно, как соболя, — зверьку надо попасть в голову, чтобы не попортить драгоценной шкурки, — стал выцеливать.

Мартемьян впился глазами в белоснежную фигуру собаки на лодке.

Белка, натянув узкий ремень, вскинулась на задних ногах, передними повисла в воздухе — рвалась через борт к хозяевам.

Еще миг — и бесценный друг, исчезнув за поворотом реки, навсегда достанется ненавистному вору.

У самого уха Мартемьяна ударил выстрел.

Мартемьян видел, как Белка сунулась вниз — мордой вперед.

Лодка исчезла.

Несколько минут братья стояли не шевелясь, глядя на волны, стремительно убегающие за мыс.

Потом старший сказал, кивнув на больную руку:

— Стяни потуже.

Из раны обильно сочилась кровь. К горлу подступала тошнота, неиспытанная слабость охватывала все громадное тело Мартемьяна.

Он закрыл глаза и не открывал их, пока брат возился с перевязкой.

Не рана его мучила: сердце еще не могло помириться с потерей любимой собаки.

Он знал, что и брат думает о ней; открыл глаза и посмотрел ему в лицо.

Левый глаз Маркелла неожиданно прищурился и хитро подмигнул ему.

«Эк его корчит!» — подумал Мартемьян и снова опустил веки.

Туго спеленатая рука наливалась тупой звериной болью.

Сильный шелест в чаще заставил его снова открыть глаза.

Не Белка — прекрасное ее приведение, все алмазное в радуге брызг, стояло перед ним.

Собака кончила отряхиваться, бросилась на грудь Мартемьяну, лизнула в лицо, отскочила, кинулась к Маркеллу.

Секунду Мартемьян стоял неподвижно.

Потом быстро наклонился, здоровой рукой подхватил обрывок ремня у Белки на шее.

На конце ремня была полукруглая выемка — след пули.

Волосатое, грубое лицо старого охотника осветилось счастливой детской улыбкой.

— Ястри тя... ладно ударил! — громко сказал он.

И тут же спохватился: ведь это были лишние слова, их можно было и не говорить.

1927 г.





ДЖУЛЬБАРС

(Рассказ ворошиловского стрелка)

Прошлого года осенью я был в командировке в Таджикистане.

Сажу как-то в столовке, обеда жду. Вдруг вваливается компания бойцов — все молодые офицеры. Все очень возбуждены, громко разговаривают, смеются.

Один подходит ко мне, здоровается.

Оказалось, по Ленинграду знакомый. Представил товарищей, рассказал, как мы с ним на ворошиловского стрелка сдавали.

Обедали вместе, и тут узнаю, что вся компания сейчас едет на облаву: какого-то джультбарса стрелять, который много скотины загубил в окрестных кишлаках¹. Какие-то там вырыты окопчики по числу стрелков, и только в одном не хватает стрелка: кто-то из офицеров заболел. И вот они меня с собой приглашают, непременно чтобы ехал с ними, и коня дадут и винтовку.

Я подумал, что джультбарс — местная какая-нибудь порода барса, зверь не такой уж страшный. Здоровая кошка — вот и все. Да и так на меня надели — не было никакой возможности отказаться. Подвиг, знаете, все-таки: население освободить от вредного зверя.

Отправились. Всего каких-нибудь километра два по степи от городка отъехали и остановились.

Дали мне заряженную трехлинейку и подвели к окопчику. Я спустился в него, а они дальше поехали — рассказывать по таким же окопчикам. Очень скоро все с глаз скрылось, и красноармейцы поспешно усаkali назад о нашими конями.

Мне сказали: зверя надо ждать примерно через час. Времени подготовиться хватит.

Окопчик этот — простая яма, по грудь глубиной. Голова и плечи наружу, стрелять очень удобно. А в углу еще дыра, узенький ход вниз, весь в него влезешь, с головой.

Я подумал: «Значит, зверь все-таки опасный. В случае чего — в эту дыру надо нырять, отсиживаться от него. И зачем это я ввязался в эту музыку? Сидел бы сейчас под крышей и никаких зверей, кроме комаров, не боялся».

Правду сказать, всякие мысли в голову лезли: «Ну, барс, джультбарс — или как его там? — конечно, не лев, а все-таки с непривычки жутковато: зверь такой, что не только козла, а и здорового кабана берет. А кабан и сам даст на ходу клыком — у человека нога пополам».

Винтовку осмотрел тщательно. В порядке вся.

Кругом огляделся. Ровная-ровная степь. Трава совсем низенькая. Только шагах в двухстах впереди — тугай. Это кустарники такие непроходимые, джунгли. Слева и справа

¹ Кишлак (узбекск.) — деревня.

от меня головы соседних стрелков из земли высовываются, поблескивают ружейные стволы, да очень далеко; если зверь набросится — помощи не жди.

Время чем дальше, тем скорее летело. Я все на часы поглядывал.

И вот ровно через час слышу выстрел далеко впереди. Это, я знал, условный знак, что цепь загонщиков двинулась.

И опять полная тишина. Только высоко в небе противным голосом какая-то хищная птица кричит, летает кругами, да часы в моем кармане тикают.

Винтовка у меня давно наготове. И смотрю я, зорко всматриваюсь в тугай. И все мне кажется: вон-вон высунулась из кустов звериная голова, поглядела и скрылась...

Сто раз успел передумать, как этот барс выскочит из тугаев, — серый весь и черные круги по всей шкуре, ростом с гончую собаку, хвост до земли, — и как он себя этим длинным хвостом в ярости по бокам будет бить. Присядет на ногах, как кошка, и бросится вперед.

Вот перед прыжком и буду стрелять. В голову. Нет, лучше в левый бок ему — в правый, значит, от меня, в сердце. А то по черепу может пуля соскользнуть.

Весь напрягся в ожидании и о времени забыл.

Потом, чувствую, устал стоять, устал вглядываться и вслушиваться. А глаза оторвать от тугаев боюсь: вдруг он тут и выскочит?

Выхватил часы из кармана, глянул: уж полтора часа прошло после выстрела. Сразу сердце отлегло: сейчас не зверь, сейчас загонщики-красноармейцы покажутся из тугаев. Пора уж им тут быть.

И уже веселыми глазами стал на тугай смотреть: зверя уже не боялся.

...А он ползет. Уже почти половину расстояния от тугаев до меня прополз. И как я его раньше не заметил, прямо не пойму!

Да и совсем не тот зверь, которого я ждал, — не барс.

Оранжево-красный весь, с черными полосами, а длиной, поверите ли, ну прямо с громадную тропическую змею, с удава!

Сознаюсь, сердце у меня так и сжалось. И весь я точно куда-то в пропасть ухнул.

Он не полз, а весь как-то переливался. Брюхо к земле прижато, ног не видно, только широкие круглые лопатки

над спиной тихонько шевелятся. А голова — с бычьей. И прямо-прямо на меня ползет. Да быстро ведь, как змея!

Опомнился я, схватился за винтовку. И вот сила привычки: как почувствовал в руках знакомый предмет, прижал приклад к плечу — сразу успокоился.

Локти упер в землю. Выцелил аккуратно в левый бок. Головой-то он ко мне был, так что рядом с его щекой пришлось целиться в плечо.

Вторым суставом указательного пальца, как полагается по правилам, плотно нажал курок. И, кажется, не успел еще замереть звук выстрела, как я оторвал приклад от плеча и щелкнул затвором: послал вторую пулю в ствол — и опять был готов стрелять.

Я ждал страшного рева, громадного прыжка, или что зверь разом упадет на бок и в конвульсиях захрипит, задрывает тяжелыми лапами. Словом, всего, чего хотите, ждал, но только не того, что случилось.

Гляжу и глазам не верю: зверь хоть бы дрогнул — ползет, как полз. Так же молча, так же быстро, так же прямо на меня.

Я — ворошиловский стрелок, почти снайпер. Я на расстоянии ста метров из пяти выстрелов не даю промаха в чуть видимое черное яблочко мишени. Как я мог промазать?

Одной секунды не было на размышление. От верности прицела и быстроты выстрела зависела моя жизнь. Я это чувствовал всем телом. Я давно уже понял, что это за зверь передо мной — тигр.

Тигр всегда казался мне страшней льва. Ползучая грудa мышц и страшная способность одним прыжком, мгновенно, бросать свое многопудовое тело на десяток метров...

Во второй раз я прицелился в голову: рассчитал, что если и соскользнет пуля по гладкой кости черепа и зверь кинется на меня, а все же успею еще раз или два выстрелить в него, пока он очутится рядом.

Рука не дрогнула. И после выстрела я опять мгновенно перезарядил винтовку.

Та же картина: зверь молча, быстро ползет на меня. Теперь и семидесяти пяти шагов не было до него, и я уже видел его растопыренные усы.

Что это: мираж, обман зрения? С таким же успехом можно стрелять в легкое облачко тумана.

Когда я выстрелил в третий раз, тигр был в пятидесяти шагах от меня. Я видел его сверкающие глаза. Они не моргнули и после выстрела.

Вдруг меня обожгла страшная догадка: я стреляю холостыми патронами! Ужас моего положения ясно представился мне: остается два выстрела, я не успею вставить другую обойму. И эти последние патроны — тоже лишь безвредные хлопушки.

Четвертый выстрел я сделал, когда зверь был в каких-нибудь тридцати пяти шагах от меня.

Тигр — ни звука. Только гибкий хвост, который я до того принимал за продолжение его неимоверно длинной спины, заходил по земле, как у кошки, подбирающейся к воробью.

Зверь готовился к прыжку.

Не помню, куда и как я выпустил пятую, последнюю мою пулю. В момент выстрела громадное огненное тело зверя беззвучно, с непостижимой легкостью отделилось от земли и метнулось ко мне.

Я выпустил пустую винтовку из рук, отскочил назад и ногами вниз скользнул в узкую нору на дне окопа.

В тот же миг надо мной нависла страшная пасть зверя. В лицо мне пахнуло горячим зловонным дыханием. Крово-во-красный язык и белые громадные клыки были над самыми моими глазами. Сумасшедший рев совсем оглушил меня.

Я заорал, кажется, еще громче зверя. И потерял сознание.

Очнулся я в постели. У изголовья стоял доктор в белом халате. Вся комната была полна молодых офицеров. У всех были испуганные лица, во всех глазах — напряженное ожидание.

— Как себя чувствуете? — обыкновенным голосом спросил доктор.

Мне все припомнилось сразу.

— А тигр? — спросил я.

Все наперебой закричали:

— Тигр убит!

— Сдох над вами!

— Небывалой величины зверь!

— Блестящая стрельба!

— Все пять пуль в нем!
— Две в левой щеке!
— Две в левом легком!
— Одна в левом плече!
— Если бы чуть пониже, — торопливо вставил мой знакомый, — угодила бы как раз в сердце. А так все пять пуль прошли зверя насквозь, без задержки.

Шкуру убитого мною тигра, или — по-тамошнему — джультбарса, я увидел только через два месяца, уже в Ленинграде. Товарищи по охоте дали из нее сделать ковер. Ковер вышел замечательный, такой большой, что покрывает весь пол в моей комнате.

Но когда я его в первый раз увидел, я вздрогнул: очень уж ярко припомнилось, как это страшная туша на меня ползла, такая же безмолвная и такая же равнодушная к пулям, как этот ковер.

1936 г.





РАЗРЫВНЫЕ ПУЛИ ПРОФЕССОРА ГОРЛИНКО

Рассветало. Зенита вышла на крыльцо домика, где вот уже месяц жила с товарищами по экспедиции.

Тайга еще дышала ночной прохладой, была полна дремучих снов. Вдали, отороченные слепящим золотом, то

вставали из густого тумана белки, то прятались в нем, и казалось, — менялись местами.

Шум мотора привлек внимание Зениты.

Внизу по тракту ползла в гору мощная пятитонка.

«Трудно ей карабкаться», — подумала Зенита. Вспомнилась местная шутиливая поговорка: «Семь верст до небес — и все лесом».

Из-под сдвоенных задних колес машины летели переломленные сучья, песок, камешки; мотор рычал и фыркал.

«Сердится, — улыбаясь, думала Зенита. — Отчего это пожилые, хорошо обьеженные машины так похожи на животных?»

В это чудесное утро все на свете казалось ей живым, одухотворенным — и горы, и тайга, и клубящийся в падах туман.

Вот солнечный свет прорвался, наконец, где-то между гор, потоком хлынул вниз, в глубокую долину. И там, внизу, влажным пламенем вдруг запылал луч, сплошь заросший огоньками — цветами жаркового, как говорят на Алтае, цвета — пылающих угольков.

Машина, затихнув было за поворотом дороги, вдруг с шумом и скрипом выбежала из леса.

В кабине рядом с шофером, осанисто сложив на груди руки, сидела пожилая женщина в больших черных очках, во френче защитного цвета — прямая и строгая. В кузове вплотную друг к другу стояло несколько клеток, а позади них, свесив ноги, сидели двое бородатых и один безбородый — все с ружьями в руках. Безбородый пристально уставился на Зениту.

Вдруг он сорвал с головы синий беретик, весело помахал им Зените и крикнул:

— Привет из Ленинграда!

Зенита с трудом заставила себя ответить ему холодным кивком.

При виде женщины в военной форме и ружей в руках молодых людей ее радостное настроение мгновенно изменилось.

Машина давно прокатила, зарылась в тайгу выше по горе, а Зенита все еще стояла, горестно опустив голову на грудь.

«...Ленинградцы, — думала она. — Верно, наша университетская экспедиция зоологов. Сколько прекрасных зверей и птиц перебьют!...»

Зенита с детства страстно любила их живыми, полными сил и жизнерадостности.

Еще юннаткой, у себя в ленинградском кружке, училась ходить за ними, могла часами играть с ними.

Животные платили ей горячей привязанностью. Медвежата встречали ее веселым ревом, старая злая волчица ей одной позволяла входить в свою клетку, ленивый барсук и смешной голенастый журавленок всюду бегали за ней следом и нападали на всякого, кого подозревали в намерении обидеть ее.

Грянула война. И случилось так, что первыми жертвами ее оказались животные: фашистская бомба попала в живой уголок и у нее на глазах в клочья разорвала всех любимцев.

Ужас и первое в жизни горе обрушилось на Зениту.

Со множеством других ребят ее спешно эвакуировали в глубокий тыл, куда не доносился грохот войны. Но все, что его напоминало — гроза, выстрелы из охотничьих ружей, — вызывало у нее нервный припадок.

Прошла война. Зенита вернулась в Ленинград, кончила там школу. По-прежнему горячо любя природу, пошла на биофак, но специальность избрала не зоологию: ведь изучающие животных часто вынуждены для этого убивать их. Решила стать ботаником. И тут, на Алтае, была в первой своей экспедиции.

Шум мотора заглох вдали за горой. Зенита потрянула головой так, что ее золотистые волосы рассыпались по плечам.

«Глупые сантименты. Пора взять себя в руки». И пошла будить товарищей.

* * *

День выдался безветренный, жаркий. Сырая, парная духота была в черни.

Чернью, черневой тайгой, называют на Алтае сумрачный нижний ярус густого смешанного леса, выше в горах сменяющегося борами: чистым пихтачом, ельником, кедрячком.

В черни все смешалось и буйно растет в тесноте и давке: корявые лиственницы с гигантскими осинами, темные шатры елей с кружевным пологом рябин, стройные пихты

о могучими кедрами и белоствольными березами. На земле гниют огромные стволы павших от старости великанов, скрытых от глаз густой, жадной до влаги и тепла порослью молодняка, перистой чащей папоротников, мхами, лишайниками. А там, где пошире расступились деревья, где свет, — там глушит их молодую поросль сказочное болотное травье — непроходимые, выше человеческого роста травы. Чернь — приют множества птиц и зверей и мириадов кровопийц: комаров, москитов, мошек и прочего гнуса.

К полудню, измученная, с распухшими от бесчисленных укулов лицом и руками, Зенита выбралась из черни в неширокую долину быстрой горной речушки, пробралась к ней сквозь густой тальник и в изнеможении села на камень.

Благодатная прохлада!

Веселая речушка бежала с белка, мчала с него студеную воду подтаявшего ледника. И даже сейчас, в знойный полдень, ток прохладного воздуха высот струился с горы в тенистую долинку. Зенита раздвинула перед собой ветки, чтобы дать ему обвеять свое разгоряченное лицо.

Так сидела она долго, не шевелясь, вся отдаваясь блаженному чувству покоя и отдыха.

...Ни сучок нигде не треснул, ни листва не зашелестела, — только вдруг почувствовала Зенита, что она не одна здесь. Страха при этом она не испытала, но тайный инстинкт сковал все ее тело, заставил остаться неподвижной, чтобы не выдать себя. Напряженно всматриваясь в ближайшие кусты выше по течению, почему-то уверенная, что таинственное существо, присутствие которого она так отчетливо ощущала, находилось именно тут.

Первое, что она увидела, были глаза.

Большие, продолговатые, сверху и снизу отороченные изумительно длинными ресницами, темно-карие глаза внимательно смотрели на нее из оливковой листвы.

Они не могли быть глазами человека: они были слишком велики для этого. И взгляд их, такой настороженно-внимательный, был все же не человеческий взгляд, — хотя Зенита и не могла дать себе отчета, чем он отличается от взгляда человека. Глаза эти видели, но видели не так, как видела она, Зенита, человек. Казалось, они видят что-то позади нее, сквозь нее, не отдавая себе отчета в том, что она тут — перед ними.

«Глаза леса!» — вдруг подумалось Зените. И эта мысль обрадовала ее, как неожиданное открытие.

Взгляд их, между тем, медленно перешел с нее на ту сторону речушки, — и на блестящей, чуть влажной поверхности глаз отразилось бездонное небо и темная тайга гор.

Но вот над глазами выдвинулись острые, беловатые на концах, костяные отростки, постепенно появилась в листве вся длинная, с черным носом и широким лбом, сухая голова зверя. За глазными отростками показались похожие на цветы, будто тонкими ресничками внутри заросшие уши, над ними высокие, гордо откиннутые назад ветвистые рога. Ниже из листвы поднялась будто выточенная из какого-то драгоценного темного дерева согнутая нога — и застыла в воздухе.

Дух замер в груди у Зениты. Никогда, казалось ей, не видела она такого прекрасного существа — и так близко от себя.

Как зачарованная, Зенита медленно подняла руку — погладить крутую шею красавца.

Миг — и застывшая в воздухе точеная нога со стуком опустилась на прибрежный камень. Легко, как птица, взметнулось над речушкой большое стройное тело — и прекрасное видение исчезло.

С шумом и треском, уже невидимый в чаще, зверь достиг перевала невысокой горы на той стороне речушки. Все смолкло.

* * *

Никому не рассказала Зенита про эту встречу с таинственным лесным зверем. Долго пела у нее в груди радость. К радости примешивалась легкая горечь.

«Ах, почему все они так боятся нас — людей? Почему не дал погладить себя?»

Счастье тогда, казалось, было бы полным.

На следующий день Зенита слышала в горах несколько отдаленных выстрелов и каждый раз болезненно вздрагивала. А вечером, возвращаясь с экскурсии, еще издали увидела у крыльца своего домика знакомую пятитонку.

Шофер, лежа на спине под машиной, что-то чинил в ней. Пассажиры стояли на крыльце. Все они, даже пожилая женщина в черных очках, были с ружьями.

Зенита в волнении подошла к пятитонке. Борт машины был спущен. В узких клетках лежали убитые звери.

В первой от кабинки клетке лежал маленький пятнистый олень — безрогий, с торчащими из-под верхней губы клыками и жалкими тонкими ножками.

Во второй клетке — такая же кабарга. В третьей — тяжелый горный баран с толстыми, широко разведенными рогами — аргали. А в четвертой... Сердце оборвалось в груди у Зениты.

В четвертой клетке лежал мертвый олень — великолепный олень-бык с ветвистыми рогами, такой точно, а может быть, даже тот самый зверь, которого Зенита вчера еще видела полным трепетной жизни и гордых сил.

На лопатке передней ноги его бурой струйкой застыла кровь. Его голова была откинута назад. Прекрасные темные глаза были открыты и так же, как там, над горной речушкой, смотрели на Зениту. И на блестящей, чуть влажной роговице их, как в зеркале, отражалось бездонное небо, озаренное последними лучами солнца, и темная тайга гор — весь прекрасный мир.

— Зенита, здравствуйте!

Вздрогнув от неожиданности, она быстро обернулась, — перед ней стоял юноша в синем беретике, с ружьем за плечами.

— Откуда вы знаете мое имя?

— Не узнаете? Да ведь мы земляки, — с улыбкой сказал юноша. — И коллеги: на одном биофаке с вами. Встречались не раз. Только вы никакого внимания не обращали на меня. Моя фамилия...

— Оставьте ее при себе, — резко оборвала его Зенита. — Я и сейчас не чувствую ни малейшего желания знакомиться с вами.

— За что же так? — привлекательное лицо юноши отразило недоумение, почти испуг. — Чем я провинился?

— Вот эта ваша работа, — Зенита гневно ткнула пальцем по направлению мертвых зверей, — меня не устраивает. Я — друг зверей.

Она круто повернулась и пошла к дому.

— Стойте, стойте! — закричал юноша. — А вы знаете, что мы стреляем их разрывными пулями...

— Тем хуже для вас! — не слушая дальше, кинула ему Зенита через плечо.

Внутри у нее все кипело. Еще разрывными пулями!.. От них такие страшные рваные раны!..

На крыльце все еще стояли приезжие.

Зенита обогнула угол дома и поспешно скрылась за кустами. Она никого не желала видеть.

Красавец-олень стоял перед ней как живой.

* * *

Через неделю ботаническая экспедиция была на пути домой. Остановились в степном городке, откуда начиналась железная дорога. Багаж был сдан, билеты взяты. Оставалось переночевать, чтобы утром сесть в вагон прямого сообщения до Ленинграда.

Зенита шла по улице, поднимающейся на увал: оттуда видны были так пленившие ее горы. Ей хотелось еще раз проститься с ними издали.

— Товарищ Зенита!

Опять этот — в синем беретике!

— Скажите, — догоняя ее, решительно заговорил юноша. — Кто в конце концов дал вам право высказывать мне всяческое презрение, когда вы совершенно ничего не знаете ни о работе нашей экспедиции, ни обо мне лично?

— Знаю, — холодно ответила Зенита. — Вы убиваете зверей. Ради науки. Ну, а мне просто больно. Поняли?

— Я-то отлично понял! — Юноша вдруг улыбнулся. — Знаю даже, почему вы не пошли на зоологию. А вот если вы потрудитесь выслушать, что такое разрывные пули профессора Горлинко, то, может быть, бросите свою ботанику и перейдете к нам...

— Никогда! — запальчиво отрезала Зенита. — Даже если эти ваши пули убивают мгновенно, без мучений...

— Зенита! — перебил юноша. — Нельзя же так, право! Ну, я вас очень прошу, зайдите к нам на базу, в экспедицию. Вон там, напротив. Там сами увидите. И клянусь вам: не раскаетесь, что потратили несколько минут.

— Увижу замечательные произведения искусства? Чучела убитых вами зверей? «Совсем как живые!» Извините, — не желаю.

— Ну, бросьте! Ну, зайдите же! — так умоляюще говорил юноша, что Зените стало совестно. — Своими глазами увидите. Потом сами себя ругать будете, если не зайдете.

Зениту начало разбирать любопытство: что у них там такое, в самом деле?

— Ну, ладно! — сдалась она. — Но если вы...

— Клянусь! Клянусь! — весело закричал юноша. — Можете меня собственноручно расстрелять... Ой, нет! Ведь вы ненавидите ружья. Ну, так навеки пригвоздите меня к позорному столбу холодным своим презрением, если я доставлю вам хоть каплю горя!

Он уже перебежал улицу и распахнул калитку.

— Вот сюда. Прошу!

То, что увидела Зенита, войдя в глубину двора, заставило ее совершенно растеряться. Широко раскрытыми глазами смотрела она перед собой — и первый раз в жизни не верила своим глазам.

Во дворе, за деревянными перегородками, помещались те самые звери, бездыханные трупы которых лежали перед ней неделю назад в пятитонке.

Были тут два безрогих, клыкастых оленшка — две кабарги. Был горный баран-аргали с толстыми, красиво разведенными рогами. Был и ее великолепный ветвисторогий олень с большими прекрасными глазами. И — чудо, чудо! — все они были живы и здоровы. Бодрый вид этих зверей ясно говорил о том, что они совсем неплохо чувствуют себя здесь.

Зенита смотрела на них во все глаза и никак не могла понять, — когда же она ошиблась? В тот раз, когда увидела этих зверей мертвыми, или сейчас, когда они вновь предстали перед ней живыми и здоровыми?

Рассудок твердил ей: «Мертвые не воскресают!» Глаза говорили ей: «Вот оно — чудо! Воскресли мертвые!»

Полная страха, что прекрасное видение сейчас исчезнет, как исчезло там, в горах, на речушке, медленно протянула руку за деревянную перегородку, в стойло, где стоял ее олень.

Великолепное животное, захрапев, откинуло на спину рога, скосило на нее вдруг налившийся кровью глаз, но тонкие пальцы Зениты уже погрузились в густой подшерсток, ощутили живое тепло, трепет напряженных мышц. И чтобы еще полнее и глубже почувствовать у себя под рукой это, все еще казавшееся ей призраком, лесное существо, Зенита закрыла глаза и ласково, с материнской нежностью погладила крутую шею храпевшего от страха оленя.

— ...Как в сказке! — задумчиво сказала Зенита, с трудом заставив себя отойти от клетки. — Но мне пора домой. По дороге вы все объясните мне? Правда?

— Конечно! С удовольствием! — заторопился юноша, все это время деликатно молчавший.

Он взял ее под руку, и товарищи ее по экспедиции, видевшие, как они шли по улице, решили, что она встретила здесь своего старого друга, — так просто и хорошо они разговаривали.

Объяснение это было недлинно.

— Все дело... — начал юноша.

— Простите, — перебила Зенита. — А как вас зовут?

— Почти как вашего оленя: Олешком. Или, если всерьез, — Олегом.

— Все дело, — продолжал он, — в замечательном изобретении нашего профессора Горлинко. Кстати: вы ее видели. Пожилая женщина во френче и черных очках. Та, что ездила с нами в горы.

В ее разрывных пулях заделана ампулка, герметически запаивная. Она содержит в себе от одного до пяти и семи десятых грамма сильнейшего снотворного вещества, жидкости. Кстати: впервые это вещество применила в качестве снотворного тоже она — профессор наш. Пули с малым количеством жидкости употребляются при стрельбе мелких животных, с большим — для крупных.

Попад в цель, пуля разрывается, не причиняя при этом большого вреда животному. Ампулка, конечно, лопается, и жидкость выливается в кровь зверя. Действие этого снадобья таково, что даже большой сильный зверь — олень, баран, даже медведь, — едва успев сделать несколько шагов, падает в сонном оцепенении, как током сраженный.

От нас зависит, сколько времени дать ему спать. Мы отвозим его на базу, помещаем в хорошую клетку — и тут впрыскиваем ему другой препарат, быстро возвращающий его к жизни.

Опыты показали, что действие обоих этих препаратов не только не причиняют животному вреда, но даже возбуждают в них усиленный аппетит и вообще повышенную жизнедеятельность. Вот и все.

— Поразительное, неслыханное изобретение! — горячо начала Зенита. Но вдруг осеклась. Ее глаза, только

что сиявшие радостью, подернулись грустью. — Не знаю... Может быть, это еще хуже...

— О чем это вы? — встревожился Олег.

— Просто я подумала, что лучше, — сразу отнять жизнь у зверя или взять его беспомощного, сонного в плен и отнять свободу? Обречь всю жизнь сидеть в тесной клетке...

— Ошибаетесь! — торжествуя воскликнул Олег. — Если мы лишаем зверей свободы, то очень ненадолго: лишь на столько времени, чтобы успеть перевезти их в заранее намеченные места. И там сейчас же возвращаем им свободу. Наша цель — акклиматизация и приручение полезных и красивых животных. Мы развезем их по всем местам, где многие из них давно уже выбиты, а другие никогда не жили, но где подходящие для них условия жизни: климат, ландшафт, корма. Из поколения в поколение мы будем переделывать их, у мирных зверей будем уничтожать древний страх перед человеком. Вы только вообразите себе, Зенита, милая, стадо красивейших оленей, пасущееся где-нибудь на Валдае или в Комарово под самым Ленинградом! Безбоязненно подбегает к вам этакий горный рогач, идет, чтобы вы его угостили из своих рук кусочком сахара, ласково потрепали по холке...

— Олег! — прервала его Зенита. — Знаете что, Олег? Вы не можете... это... ну... простить мне, что я была с вами такая злюка? А, Олешек?

— Кажется, могу, — сказал Олег.

И они расхохотались.

1949 г.





«У М М Б!»

В первый раз это случилось со мной, когда мне было шесть лет.

Я играл на песке у моря. Никого не было рядом: мать присматривала за мной из окна. Домик наш стоял у самого берега.

Я делал из песка горки и проводил канавки. И хотя все мое внимание было поглощено этим интересным занятием, я вдруг заметил, какая сделалась кругом тишина.

Наверное, подошел полдень, — солнце над моей головой стояло почти отвесно. Будто онемело все вокруг, — мне показалось — весь мир. Хрустальной горой — почти зримой — воздвигалось до самого неба безмолвие. Как это произошло? Мгновенно или же исподволь, незаметно для меня, увлеченного своей забавой? Я не слышал птичьих голосов в саду нашего дома, — птицы молчали, попрятались, затаились. Ничто не шевелилось там, в саду; укороченные, иссиня-черные тени кустов и деревьев неподвижно лежали на дорожке. Даже ветер будто затаился. Столько живого было вокруг меня — птицы, цветы, деревья, — я чувствовал эту огромную, разнообразную жизнь, и все замерло, будто затаило дыхание и вслушивалось, вслушивалось: вот кто-то скажет слово — удивительное, неслыханное слово, — и разом рухнет эта непонятная мне немота.

Когда я теперь вспоминаю себя ребенком, именно так мне представляется мое тогдашнее ощущение этого безмолвия. Тишина, внезапно наступившая, мне казалась таинственной, я не мог ее разгадать своим детским умом и замер сам и вслушивался, ждал, что вот в самой этой неподвижности полдня, в самом пространстве, наполненном зноем, с минуты на минуту что-то произойдет — и тайна исчезнет. Как в сказке из «Тысячи и одной ночи» «Али-баба и сорок разбойников» раздается заклинание «Сезам, откройся!» — и перед человеком открывается гора, полная сокровищ.

Я ждал. Горка песку беззвучно рассыпалась и легла у моих ног. В смятении я обернулся.

Матери не было в окне, а вскочить, побежать к ней я не смел.

Тишина все длилась. Только маленькие пологие волны залива равномерно набегали и отбегали; набегали и отбегали, чуть слышно звеня, оставляя влажный след на песке. Был полный штиль.

Полный штиль был и внутри меня. Я затаил дыхание. Только ровно, сильно тукало сердце.

Сколько времени это длилось я не мог бы сказать.

Теперь-то я хорошо знаю, что это за тишина. Она наступает на переломе знойного летнего дня, в полуденные часы. Утомленные жарой, смолкают птицы; хищники,

с рассвета парившие в небе на своих распластанных крыльях, прячутся в тень; рыба перестает играть на зеркале рек и прудов — глубже уходит в темные подводные заросли, и даже кувшинки прячут под воду свои желтые и белые чашечки. Зной. Безветрие. Солнце стоит отвесно. И чем жарче день, тем удивительнее это затишье, наступающее в природе. Почувствовать его можно только в лесу, в поле, на море, — в городе оно незаметно. Может быть, час пройдет после полудня, может быть, меньше, — и так же неуловимо, неощутимо, как настает эта немота, мир опять наполняется звуками.

...Ничего не случилось, но я почувствовал: проходит. И странное оцепенение спало с меня.

И вот тут-то я услышал слово, — каждый звук в нем различил.

— Уммб!.. — послышалось далеко в море, разнеслось по спокойной воде, дошло до берега, до меня и отдалось где-то за нашим домиком, в лесу:

— ...ббб!

И там, откуда разнесся этот звук — от «банки», песчаной отмели среди моря, — всколыхнулись чайки. Закричали, поднялись в воздух. Налетел ветерок. В саду громко запел яблник, застрекотали кузнечики. Хрустальная гора безмолвия рухнула.

Я вскочил и стал всматриваться в море: кто там сказал это слово?

Но на спокойной глади воды никого не было видно.

Это очень удивило меня: такое великанское — на весь мир! — слово, а того, кто его сказал, не видно. Уж не само ли это море его принесло?

Я был в том возрасте, когда для человека в мире живое все и у всего есть язык. Тогда человеку весь мир — сказка. А в сказке почему бы и морю не произнести какие-то слова? Ведь говорит же в сказке Царь Морской!

А это слово было как раз такое, будто кто-то произнес его со дна моря, — булькнул им оттуда на весь мир.

Я побежал спросить у матери: кто это говорит «уммб» и что это значит?

Но мать ничего не могла объяснить мне. Она была в кухне, не слышала этого слова и, занятая своими делами, даже не поняла, о чем я спрашиваю.

Забуть такое слово было невозможно, и долго потом я о нем спрашивал у всех взрослых. Но никто не мог мне

его объяснить, даже «старые морские волки» — матросы, побывавшие в кругосветных плаваниях.

Но эти-то умели рассказывать о море такое, что, слушая их, я забывал обо всем на свете, даже о слышанном мной таинственном «подводном слове», как я его стал называть про себя.

Из их рассказов выходило, что в море все есть и все может быть, — даже такое, о чем люди и не подозревают. Есть же на свете морской змей длиной в несколько километров. Есть рыбы, летающие по воздуху, — как же, рассказчик их своими глазами видел! Есть чудовища морские, такие огромные, что в пасти их пропадают целые корабли с мачтами. Есть и такая рыба морская: только приставит ей корабельный кок нож к пузу — она как заорет петухом! «Вот те крест! — клянется рассказчик. — Сам, своими ушами слышал, пропади она пропадом!»

Я подрастал. Пришел тот возраст, когда у человека широко открыты глаза на мир, — влекущий к себе, прекрасный и таинственный мир, но уже нельзя без оглядки верить всему, что слышишь об этом мире. Рассказы матросов были очень увлекательны. Пока слушаешь их, веришь, бывало, всем морским чудесам. А потом опомнишься — и пойдут сомнения. Начнешь разбираться, где правда, где сказка и где в сказке правда.

Наверное, уж так я устроен, что мне и до старости кажется: вся жизнь — сказка. К чему ни начнешь прислушиваться — за самым обыкновенным, даже скучным на первый взгляд явлением скрываются удивительные вещи. Начнешь разбираться, а там — полно неизвестного: темные дебри маленьких и больших тайн.

И еще мне казалось странным, почему это люди — даже взрослые — так охотно выдумывают небылицы, когда было чудеснее всего, что они могут выдумать?

Выдумывают каких-то чудовищ, глотающих корабли. А тому не удивляются, что живое морское чудовище — опромный зверина в сто тонн весом — кит — не может проглотить даже маленького человечка: такое у него узкое горлышко.

Серьезные научные книги начинали тогда раскрывать передо мной не менее удивительные чудеса и тайны, чем те, о которых говорилось в сказках. Я узнавал из книг, что существуют на самом деле летающие по воздуху рыбы, рыбы, ходящие посуху и даже залезающие на деревья.

И что на самом деле существует морской петух — кричащая рыба.

Это заставило меня снова и снова вспоминать когда-то слышанное мною «подводное слово» и думать: уж не рыба ли какая произнесла его, — и томиться желанием разгадать эту загадку.

Человек пытлив, он хочет все объяснить себе — и во вселенной и в себе самом. Как же без этого жить? Исследовать, понять должен человек, а не спешить забыться — махнуть рукой.

Мы продолжали летами жить на берегу Финского залива. И вот еще и еще раз пришлось мне услышать этот таинственный звук.

Однако кто его произносил, я никак не мог подметить. Каждый раз та же картина: спокойная гладь моря, на ней — никого, кроме чаек, тишина, неподвижность — и раздается это «уммб!».

Единственное, что я твердо установил в эти годы, это что «уммб» совсем не обязательно раздается в полдень: мне приходилось слышать его и утром, и днем, и вечером — лишь бы на море было тихо.

Но кто произносил это таинственное слово, кто?..

Десять лет томился я этой загадкой.

Разгадка пришла неожиданно. И при довольно странных обстоятельствах.

Случилось, к нашему берегу прибило волной утопленника.

Как полагалось тогда — это было до революции, — из ближайшей деревни послали за урядником и судебным следователем, а в ожидании их приставили к утопленнику сторожа, чтобы никто до приезда властей не пошевелил мертвое тело.

Сторожить ночью досталось знакомому мне мужичку Спирьке. А он был не то что слабоумный, а, как про него говорили, «со шмелем». Из тех, кого до старости зовут уменьшительным именем без отчества. Нескладно все как-то у него получалось, фантазии все разные, а дела нет, — больше все в церковь за семь километров бегал да лоб крестил. Нечистой силы Спирька боялся ужасно, и она всюду ему мерещилась. Ну, где такому всю-

ночь около утопленника просидеть? Да у него от страха родимчик делается. А послушаться старосты нельзя: боится.

Вот Спирька прибежал ко мне и молит:

— Выручи, братец, посиди со мной ночку, смерть боюсь!

А мне шестнадцать лет было — самый такой фанфаронистый возраст, когда не только своего страха никому не покажешь, но и над другим без жалости посмеешься, если заметишь, что чего-нибудь боится.

Над Спирькиной «нечистой силой» я частенько измылся. Он и думал, что мне все трын-трава.

А мне, признаться сказать, никогда еще с покойниками дела не приходилось иметь, и с утопленником целую ночь просидеть совсем не улыбалось. Ну, однако, не откажешься: подумает ведь, — трусил.

— Ладно, — говорю. — Обожди. Сейчас соберусь. Ночку с тобой скоротаю, а чуть свет — извини уж! — на охоту уйду.

Какая там охота после бессонной ночи! Но надо же как-то объяснить, зачем ружье с собой беру.

А Спирька и тому рад, что хоть в темноте живая душа с ним рядом будет.

Вот сидим мы со Спирькой ночью у костерка и разные истории друг другу рассказываем. Все про хорошее стараемся, про веселое. Про покойников, утопленников, конечно, ни слова.

А «он» лежит тут совсем близко, свет от нашего костерка до него достигает. Мы у леса, «он» на песке между нами и морем. Рогожами покрыт. Лежит, молчит, не шевелится, — кажется, чего спокойнее? А вот не только Спирька — и мне страшно. Оба к «нему» сидим вполоборота — спиной боимся повернуться. Оба нет-нет, да и покосимся на «него» одним глазом.

Я-то, конечно, знаю, что со смертью все кончается, мертвый не встанет и ничего плохого сделать тебе не может. А все-таки твердой уверенности, чувствую, во мне нет: вдруг да случится что-нибудь такое страшное? А что — и сам не знаю.

Котелок у нас над огнем приспособлен: чай греется. Двустовка у меня к дереву прислонена.

А ночь июньская, тихая-тихая. Чуть только море плещет. И звезды в небе горят неярко, спокойно так.

Уж вторые петухи в деревне — слышно было — пропели.

И вдруг я услышал шаги: идет кто-то по берегу к нам, камешки у него под ногами похрустывают.

Я взглянул на Спирьку, а на нем лица нет. Глаза с кулак, и рот разинут.

Я взял ружье на колени и жду: кто покажется?

Показался старичок. Совсем с виду не страшный: бороденка плохонькая, в руке суковатая палка, котомка за спиной. В штiblетах. Одним словом — прохожий старичок, из городских.

Повернул к нам. Подошел.

— Мир беседе! — говорит. — Чтó не спите, люди добрые?

— Сторожим вот, — отвечаю. И кивнул на «того», закрытого рогожками.

— Вот оно какое дело!

Старичок подошел к «тому», нагнулся, опершись на палочку, поднял рогожку и долго, спокойно и внимательно вглядывался в открывшееся ему лицо. Потом опять аккуратно прикрыл его рогожей.

— А это зачем же? — опять подойдя к нам, кивнул он на мою двустолку. Я так и держал ее на коленях. — Убежит, что ли?

Я не нашелся, что ответить. Приставил двустолку опять к дереву.

Он скинул с плеч котомку, сел, вытащил из нее облупленную эмалированную кружку, хлеб.

— Одолжите кипяточку?

Спирька налил ему из котелка.

Старичок молча напился чаю с хлебом, молча убрал кружку, достал кисет и сложенную книжечкой мятую газетную бумагу. И, держа ее в руках, о чем-то надолго задумался.

Задумался и я. Старичок мне не нравился. Не потому ли, что он так равнодушно разглядывал «того» — на песке? И посмеялся над моим ружьем?..

— ...Закурим, — сказал прохожий старичок. — Закурим табачку листового, помянем дедушку лесового.

Поминание «дедушки лесового» привело в полное смятение Спирьку: я видел, как он дернулся и, поспешно сунув руку за пазуху, мелко-мелко стал крестить себе грудь.

Старичок, казалось, не заметил этого. Он закурил, предложил табачку нам и, когда мы отказались, стал рассказывать.

Рассказ его был как раз о том, о чем мы со Спирькой в это время меньше всего хотели бы слышать: о мертвых.

Старичок сообщил, что уже сорок лет служит в городе сторожем в морге, или, как он говорил, «при покойницкой». Мертвецы были его специальностью, и видно было, что он может сообщить о них много любопытного. Я уж было и заинтересовался его рассказом, но, взглянув на Спирьку, решительно попросил старичка «прекратить об этом».

Он явно был недоволен, что ему не дают говорить на излюбленную тему, пробормотал себе что-то сердито под нос, но замолк.

Пропели за лесом третьи петухи. Был тихий предрассветный час. Море и лес молчали: еще не начался утренний бриз — не потянуло ветерка с остывшей за ночь земли в море; не проснулись в лесу птицы.

— ...Уммб!.. — раздалось вдруг с моря.

— Господи, спаси нас и помилуй! — отчаянной скороговоркой взмолился до смерти перепуганный Спирька. — Господи, осподи, осподи, осподи, да что же это за напасть такая! Помилуй нас, огради, защити, осподи!..

Я с удовольствием отметил про себя, что и старик вздрогнул при этом таинственном звуке. Но он быстро оправился.

И не замолк еще шепот Спирьки, как он полным презрения голосом обронил:

— Эк тебя схватило! От необразованности все это. Темнота!

И так он это уверенно произнес, такое в его голосе прозвучало равнодушие к тому непонятному, что через это «подводное слово» меня так мучило, что я вдруг подумал: «А ведь вот кто, пожалуй, знает, чей голос произносит это слово!»

И, на всякий случай — чтобы не потерять своего достоинства, — скривив рот в улыбку, я тоном превосходства «образованного» человека, с высоты своих шести классов гимназии, спросил:

— А вы, значит, понимаете, что это мы сейчас слышали?

Старичок сплюнул в костер.

— Прежде слышать не доводилось. А в соображение взять можно. Данные налицо.

«Ого! — подумал я. — Какое слово!»

И даже трепет какой-то внутренний почувствовал: вот сейчас этот сморчок, просидевший полжизни среди мертвецов, в один миг раскроет мне тайну, разгадать которую я не мог десять лет! И досадно было, и любопытно ужасно.

— Так какие же ваши «данные»? — спросил я как можно равнодушнее, особенно подчеркнув «ученое» слово.

Старичок пристально посмотрел на меня и встал. Почти величественным жестом он широко провел вытянутой рукой у себя перед грудью, как бы обводя ею какое-то пространство. Потом опустил ее — и указал на то, что лежало на песке, прикрытое рогожками.

— Понятно?

Я смутился.

— Второе понятно: вон лежит. А первое, признаться, не очень.

— Первое будет — море. Мало разве в нем покойников плавает? Один этот и был?

— А при чем тут он? — совсем удивился я.

— Как, то есть, «при чем?» — рассердился старичок. — Другой человек не своей волей в воду-то попадает: случайно свалится да захлебнется или другие его туда пихнут. Такой своего последнего слова еще не сказал. А дых в них, в покойниках, есть. Такой вот человек и старается с-под воды-то свое последнее слово людям и миру вымолвить. С последним дыхом выдавливает его со дна морского.

«Фу ты! — подумал я. — Какую ерунду выдумал. Вот тебе и «образованность»!

Я махнул рукой и нарочито протяжно зевнул.

Это не прошло мне даром.

— А вы, молодой юноша, — сощурившись, сказал вдруг старичок, — видать, из образованных будете? Что же покойников-то эдак боитесь? В бабы сказки верите? Стыдно-с!

Я, конечно, вспыхнул.

— Из чего это вы заключаете, что я боюсь? И не думаю! Я сюда добровольно пришел, вот с ним, — я кивнул на Спирьку, — посидеть. Потому что он боится.

— А не боитесь, — сказал старичок и вредно так улыбнулся, — так вот извольте потрудитесь до моря дойти —

взглянуть, не плывет ли там еще какой покойничек? Да чтобы мы знали, что вы до самой воды дошли, прихватите вот пустой котелок, принесите нам воды из моря. Ась?..

Это уж был прямой вызов. Отказаться — значило признать себя трусом.

Я вскочил, схватил котелок, протянул было руку и за ружьем, но, покосившись на ехидного старичка, поспешно отдернул руку. Пошел с одним пустым котелком.

До моря по прямой было шагов с сотню. Идти надо было мимо прикрытого рогожами тела. И я прошел нарочно как можно ближе к нему: на вот тебе.

Я хоть не оборачивался, но уверен был, что старичок не спускает с меня глаз, так и сверлит ими спину мне.

Здорово я был в эту минуту зол на этого прохожего старичка. Да и на себя тоже: ведь я действительно побаивался, а чего — и сам не знал. Я же не семинарист, не верю ни в ведьм, ни в колдовство, ни в разных там виев, ни в восстающих из гроба покойников и стучащих в окно утопленников.

...И в распухнувшее тело
Раки черные впились... —

вспомнились мне вдруг с детства знакомые строчки, и все тело сразу покрылось «гусиной кожей».

«Фу ты, чтоб тебя! — подумал я. — Лучше совсем об этом не думать. Потом разберусь, откуда все-таки этот страх. Днем же не трушу».

Я уже подходил к морю. Начинало рассветать. Я всматривался в воду: вдруг там на самом деле... Но нет, конечно, не бывает таких неожиданных совпадений!

Вместе с тем мне холодило спину: я не мог забыть, что там, у меня за спиной, лежит «тот», покрытый рогожками.

...посинел и весь распух...

Однако тут мне пришлось убедиться, что совпадения в жизни бывают самые неожиданные и такие, которых человек заранее даже представить себе не может.

Я увидел в волнах темное тело.

«Нет, это подводный камень обнажился!» — мысленно сопротивлялся я тому, что видели мои глаза и что не хотело, ни за что не хотело признать мое сознание.

Темное тело покачивалось в спокойных волнах так недалеко от берега, что виден был даже желтоватый блеск,

которым оно отсвечивало в лучах разгорающейся зари. И заметно было, что его несет к берегу.

Больше обманывать себя нельзя было.

Мне стало нехорошо. Я почувствовал слабость под коленками и должен был опуститься на песок.

Мне показалось, темное тело исчезло. Но вот я его опять увидел — ближе.

...Опять исчезло. Или это у меня мутится в глазах?

Я сидел, не смея пошевелинуть пальцем.

И как-то уж совершенно неожиданно для меня утопленник вдруг очутился совсем рядом: выплеснулся на влажный песок вместе с волной. Длинное мокрое тело, все в мутных пятнах, зализанная водой голова... И голова эта смотрела на меня в упор открытыми, живыми человеческими глазами!

Этого я не мог вытерпеть.

Я вскочил и... не знаю, что бы я сделал, если б утопленник не повернулся вдруг очень быстро всем телом и не нырнул назад в море.

Можете смеяться надо мной, но я в ту минуту не мог сообразить, что зверь — нерпа, тюлень.

Я понял это только через несколько времени, когда уже совсем рассвело и я увидел тюленя. Он плыл недалеко от берега и скоро потом вылез на плоский, чуть выглядывающий из воды камень.

С камня он сейчас же опять нырнул в воду: наверно, увидел меня на берегу, на старом месте. Нырнул, вынырнул — и вот оттуда, с моря, от самого того камня, где он показался, четко и ясно раздалось:

— УММБ!..

Это случайное маленькое открытие принесло мне неожиданную радость.

Не в том дело, что я мог теперь торжествовать над прохожим старичком, так ехидно надо мной посмеявшимся. Кстати сказать, я больше его не видел: он ушел, не дождавшись меня с моря.

И не в том дело, что я разгадал то, что для других — даже стариков — было тайной; хотя это, конечно, было приятно. А в том была моя радость, что я одержал победу над самим собой.

Скоро мне пришлось убедиться, что после этого глупого приключения прошел страх мой перед таинственным. Только начнешь трусить чего-нибудь непонятного, разом всплы-

вет в памяти, как я тюленя принял за утопленника, — и сам на себя улыбнешься. А где улыбка, там какой же уж страх. И вот захочется найти простое объяснение тому, что кажется таким таинственным.

Сколько раз потом ночью на охоте мне приходилось слышать жуткие, неизвестно кому принадлежащие голоса. А утром по следам, оставленным зверями и птицами на земле или снегу, разгадывать, кто напугал меня в темноте.

Или вот сейчас, я опять вслушиваюсь в таинственную тишину перелома дня. Перед окном моей избы на колхозной улице сидит ворона. Даже не сидит, а скорее лежит; распласталась крылья в пыли, приоткрыла клюв...

Дальше — за околицей — на сосне сидит большой ястреб-тетеревятник. Я не вижу отсюда, открыл ли он клюв, но достаточно того, что он сидит неподвижно и не делает никакой попытки схватить в когти глушью ворону, так беспомощно развалившуюся у него на виду в пыли.

Я знаю: он насытился с утра, он тоже утомлен жарой.

Ополдень будто бы замерла жизнь в природе так, как замерла она в сказке о спящей красавице. Безмолвие, безветрие; ходики у меня на стене одностонно отсчитывают минуты. О, как быстро они бегут!

Солнце — отец жизни — продолжает свой путь, ниже клонится к горизонту, и все живое под ним скоро стряхнет с себя это полуденное оцепенение.

— Сезам, откройся! — Сколько раз открывалось передо мной на миг сказочная гора Сезам, но двери, за которыми не счесть сокровищ, тотчас же опять захлопывались у меня перед носом. Я не боюсь этого теперь. Я знаю: это не страшно, раз человек понял, как они отворяются.

К самым таинственным, призрачным дверям всегда найдется простой вещественный ключ. Умей его только найти.

Сокровища будут твои.

1946 г.





«О АУЛЕЙ, АУЛЕЙ, АУЛЕЙ!»

К середине апреля лед потемнел, побурел, кой-где отошел от берегов, и в самой середине озера образовалась полынья.

Как огромный синий-синий самоцвет, засияла на солнце освобожденная вода. И угром, и днем, и вечером — когда

ни взглянешь, — на них сидят, спускаются или поднимаются стаи пролетных уток, а ночью слышится с полыньи их неумолчный гортанный гомон.

В сильный полевой бинокль я хорошо различал их с берега. Все это были нырки: гоголя, чернети и спешащие на далекий север морянки-аулейки — черно-белые, с острыми, как стрелы, хвостами.

Впрочем, морянок-то я различал и ночью по их крику, совсем не похожему на кряканье, гогот, свист других уток. Звонким, напористым голосом они как бы зовут, призывают издалека-далека кого-то, чье имя Аулей:

— О Аулей, Аулей, Аулей!

Кряквы, шилохвосты, свиязи и другие мелководные утки полыньи не посещали. Им тут нечего делать: середина озера очень глубока, а они ведь достают себе еду со дна, не ныряют, а только опрокидывают в воду переднюю половину своего тела. Нырки же могут доставать себе еду даже подо льдом.

Последние дни в поднебесье, над озером, шли лебеди. Их могучие ликующие голоса покрывали собой все другие весенние звуки, песни и крики.

Волновали они меня необычайно своей неописанной красотой.

Я читал в книжках: крик лебедя сравнивают с серебряной трубой. В жизни не слышал труб, сделанных из чистого серебра. Но трубы — какие-то большие, неведомые, сказочные трубы — клики лебедей действительно напоминают, хоть не слышал я и сказочных труб.

Три дня назад, утром, эти победные трубы ворвались в мой сон и властно прервали его. Мне показалось, они прогремели совсем низко, над самой крышей моей избушки.

Я спал не раздеваясь и сейчас же выскочил с биноклем на берег.

Двенадцать великолепных птиц, величаво поднимая и опуская широкие крылья, косым углом плыли над противоположным берегом озера. В ярком свете солнца, поднимающегося из темного леса, их белоснежные тела и крылья отливали ослепительным серебром.

«Вот отсюда и взялось сравнение с серебряными трубами», — подумал я.

И еще подумал, что косяк дает круг, снижается, — верно, хочет сесть на озере.

В этот миг над тем берегом, на стене темного леса, блеснул быстрый злой огонек и вспыхнуло белое облачко дыма.

Я не поверил своим глазам — быстро навел бинокль на это место. Тут донесся до меня звук выстрела, и я увидел на том берегу маленькую фигуру охотника.

Сомнений быть не могло, стрелок бил по лебедям и бил метко: косяк расстроился, лебеди сбились и пошли вверх, а один из них отстал и как-то боком, загребая одним крылом, снижался по кругу к середине озера.

«Дорого тебе станет этот выстрел!» — в гневе подумал я про охотника. Но он уже повернулся и поспешно скрылся в лесу.

Наш охотничий закон запрещает бить лебедей. За убийство этой прекрасной птицы суд присуждает виновного к большому штрафу.

Уже мало остается на земле таких глухих мест, обширных озерных крепей, где, таясь от человеческого глаза, в огромных гнездах из камыша и вырванного из собственной груди пуха, выводят эти сказочные птицы своих розовоногих пушистых птенцов. Редки становятся лебеди даже на наших просторах.

Подбитый лебедь уже сидел на полынье, раскинув по воде правое, видно раненое, крыло и высоко подняв прямую шею. Это был кликун — самый крупный из наших лебедей: его сразу можно отличить по прямой, немного дикой осанке от чрезмерно красивых шипунов — живого украшения городских парков всего мира. Сидя на воде, шипун держит крылья горкой над спиной, шею — всегда плавно изогнутой. Кликун гордо поднимает голову, держа шею во всю ее высоту, плотно прижимает крылья к телу.

Отыскав глазами его товарищей, я увидел их над дальним концом озера.

Они опять выстроились косяком и, медленно, мерно взмахивая тяжелыми крыльями, на большой высоте спокойно уходили от опасного места.

И тут сидевший на полынье кликун начал кричать.

— Кринг-кляу-у! — кричал покинутый лебедь звенящим, хриловатым голосом. В певучем его крике слышалась боль, слышалось отчаяние, слышался тоскливый зов. Да, отчаянный зов.

— Кринг-клинг-кланг-кляу-у! — издали отозвалась ему стая.

— Кринг-клю-у! — отчаянно звал раненый.

И стая повернула. Косяк сделал широкий круг, перестроился в одну линию, снизился и, перестав шевелить крыльями, пошел на посадку. Раненый замолчал.

Я видел в бинокль, как лебеди один за другим спустились на воду, поднимали две стены брызг и некоторое время с разгона двигались по воде.

Потом стая сплылась, и я перестал различать между ними раненого.

Не хочется рассказывать, что было дальше. Все и так понятно: ведь лебеди, как и мелководные утки, не могут кормиться на глубине. Они достают себе еду, как утки, погружая длинную шею в воду, — со дна, мелкого дна.

Через два часа стая, тяжело поднявшись с воды, стала на крыло и, снова выстроившись косым углом, продолжала свой путь на север, к своим гнездовьям.

Раненый опять кричал. Как он кричал! Пусть другие думают, что хотят, а я уверен, что он знал свою судьбу. Он был обречен на голодную смерть.

Существует легенда, что лебедь поет перед смертью. Да, этот певучий крик можно было назвать песней. Мне она казалась звуком неведомой трубы.

Я пытался спасти раненого лебедя. Но это было невозможно.

Рыбаки только головами качали на мои просьбы помочь мне: не только лодки нельзя было дотащить до полыньи, но уже и ступить на трещащий, крошащийся под ногами лед было рискованно.

Лебедь плавал в самой середине быстро увеличивающейся полыньи и не приближался к ее ледяным берегам. Не в силах больше выносить его крика, я ушел из дома — из избушки на высоком берегу озера.

Но долго еще в дороге преследовал меня могучий, тоскливый трубный крик.

* * *

Я вернулся домой через два дня утром.

Лебедь больше не кричал. Его не было видно на полынье.

В бинокль я разглядел на закрайке льда большое алое пятно и по всему льду озера от леса до полыньи — легкие цепочки лисьих следов.

Может быть, ночью лебедь вышел на лед — хотел идти к берегу, к мелкому месту, и тут достался хищникам, — не знаю.

Лебедя не стало. С полыньи доносился опять только звонкий зов морянок:

— О Аулей, Аулей, Аулей!

Стаи снимались с озера, летели на север — к своим гнездовьям.

* * *

С удовлетворением я узнал в деревне, что охотник, стрелявший в лебедя, был остановлен лесной стражей и отдан под суд.



СОДЕРЖАНИЕ

Последний выстрел	3
Джульбарс	11
Разрывные пули профессора Горлинко	17
«УММБ!»	27
«О Аулей, Аулей, Аулей!»	39

Бианки Виталий Валентинович

РАССКАЗЫ

Для детей среднего
и старшего школьного возраста

Редактор И. Козловская
Художник В. Еврасов
Художественный редактор Г. Эсге
Технический редактор М. Сафонова
Корректоры Н. Тырышкина, Г. Ульченко

Сдано в набор 14. X. 1975 г. Подписано к печати 19. XII. 1975 г.
Формат 60×84/16. Усл. печ. л. 2,56. Уч.-изд. л. 2,26. Тираж
32000 экз. Заказ 3607. Цена 8 коп. Алтайское книжное изда-
тельство Государственного комитета Совета Министров РСФСР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли —
Барнаул, 76. Горно-Алтайская типография — Горно-Алтайск,
Коммунистический, 27.

8 коп.



АЛТАЙСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО